

## ТЕОРИЯ БЕССМЕРТИЯ

Роман\*

*Когда-нибудь в будущем люди научатся оживлять умерших... по оставленным ими в космосе следам.*

Н. Федоров

Вот сорвался снег с верхушки ели на случайный выстрел.

Запрокинуто прозвучал мой голос, как плач лисицы.

Как магический гимн имени твоему.

Скоро наступит полночь.

Одна половина меня живет в аду — другая осталась в раю.

Ты — доказательство, что это так!

Ты причиняешь мне боль, но держишь меня на плаву.

Благодаря тебе, я способен чувствовать жизнь, писать роман, ненавидеть смерть.

В твоём и моём воображении восстают одни и те же образы. Мы одинаково безумны. Мы играем одну и ту же пьесу.

Ты всегда разоблачаешь меня. И приходится начинать все с начала.

В жизни бывает много начал. Мое начало сначала сиренево, даже зеленовато, как синяк под глазом. Твое начало ослепительно, как зимнее утро в Западной Сибири.

Вчера мне было сказано, что я не могу больше растворяться в твоей жизни, медленно, ночь за ночью, глубинами плыть, зажмуриваясь... нет ни сна, ни яви, ни пробуждений в огне диких воспоминаний, нет даже милосердия ледящей бессмысленности — есть продолжающийся карнавал всех умерших, всех событий, живых и мертвых: «планетное мясо».

Вчера, в серых в марлевых сумерках, твоя душа, преследуемая ликантропией, треском разрываемой плоти, визгом пилы и урчанием, израненная заклятьями и молитвами колдунов, святых, — рванула в мое будущее по встречной полосе, с гандикапом в пятьдесят лет. Она обиженно летела сквозь встречные дилижансы, автомобили и автобусы, сквозь чемоданы и сундуки, заполненные нестерпимыми ожиданиями. И твое отчаянье стало растворяться во мне... бесконечной вереницей твоих рекламных агентов и послушников твоей любви, как щелочь, как нестерпимая боль, обрекающая меня на рабство и унижение, наслаждение и алчность — адская комбинация — адская суть этой пытки...

У тебя есть что-то общее с железом, с веревкой, с только что срубленным деревом, с шумом крови в голове, с обратным ходом событий.

Ты — как Седна, богиня богов, иннуитов и шаманов — зришь в меня закрытыми глазами.

Накануне, вечером, даже звезды мне показывали, что я откровенно умираю, что я растратил в жизни все. Потом, ночью, стали загадочно исчезать все люди и города, и все на свете завалил новогодний снег, а утром — ясно. Медленно и осторожно, как росамаха, а потом беззаботно и светло, как копошащийся в пеленках ребенок... из белого плена ночи восходит солнце, и уже сверкает иней на деревьях, седых и кудрявых от мороза. Скрипит снег, скрипят половицы, потом слышен шепот за дверью — все это утро. Оно уже блестит бесконечной лентой новых открытий, и мне кажется, что спросонья слышу почти крик, даже вздох, и ловлю тайный взгляд, сторожу легкий шаг... и мечтаю о космической женщине. О тебе. Мне мучительно хочется целовать твою фантастическую красоту.

Совершенство — это удушье, и я, как ныряльщик, погружаюсь в себя, чтобы познавать и увеличивать свои желания.

Ты, как Седна, десятая планета Солнечной системы, летишь в галактической тьме и ни для кого недоступна.

Ты так адски желанна, что меня тянет к тебе, как в ад.

Ты уносишь на дно мою душу.

---

\* Журнальный вариант.

Вчера, весь растерзанный спором, я слушал: ты мне очень страстно выговаривала, и монолог твой был реестром моих несовершенств. Ты упрекала, что я пьяница, и надоел тебе до смерти, что ты никогда вообще меня не хотела и никогда не любила меня, а я вцепился в тебя, как энцефалитный клещ.

Ты говорила и говорила, а я все смотрел тебе в рот.

Мне не надо было смотреть тебе в рот. Мне не надо было соглашаться с тобой или брать у тебя что-то вообще, вместо тебя самой...

Потом я украл у тебя сердце.

Потом ты у меня украла сердце.

Все-таки ты красивая. И одна-единственная. И безрассудная. Ты можешь полюбить, а потом все бросить. Можешь обмануть. И если бы какой-то юноша выбросился вдруг из-за тебя из окна, ты бы просто села на подоконник и стала печально смотреть вниз. И ты можешь случайно не прийти. Можешь прийти, раздеться, лечь, а потом вдруг попросить, чтобы я выпил твои глаза, съел кусочек твоего уха. И ты можешь неожиданно встать, одеться, уйти. И даже не позвонить... И когда плачешь — ты всегда закрываешь глаза рукой, чтобы не помешать случиться своему счастью.

Счастье отнимает прошлое. Счастье лишает нас кожи.

— Ты будешь очень чесаться от счастья, любимый мой. Ведь ты же в него вляпался по уши, как блудливый кот, всеми четырьмя лапами. Ты будешь весь чесаться и завидовать каждому телеграфному сооружению, потому что именно столбам не надо чесаться или желать об этом — о них трутся боками коровы и свиньи.

Счастье — это импотенция.

— Тебе уже не хватает телесности, страстности плоти — а я ненасытна, как смерть, я презираю твою ничтожную духовность и фальшивую девственность. Я сгораю от страсти и умащаю свое тело всеми приторными благовониями: мятной водой, толчеными семенами укропа, птичьей кровью и бурым соком из корней лопуха... Свою любовь мне не спасти от твоего глупого счастья! Я мечтаю прыгнуть в огонь и, как порох, вспыхнуть, чтобы превратиться в небесную собаку и уже ни с каким мужиком вообще не ложиться в постель, ни с тобой, ни с американским миллионером, ни со сперматозоидом из Млечного пути...

В постели ты не оставляешь на себе одежду. Одежда делает тебя драматичной. В твоей одежде есть злое манкость. Свои костюмы и платья ты носишь так, словно идешь по очень узкой огненной лестнице. Тень пламени выдает интуицию твоего движения, а ткань и платье — пылкость и утонченную необузданность тела.

Как бы ты ни укладывала свои волосы, они пахнут снегом и слезами, и вызывают действительную, почти старомодную сентиментальность.

Твои слова о любви — это такая терпкая смесь угроз и обещаний разного рода искушений, знойных галлюцинаций и первородных фетишей, что я в растерянности склоняюсь, и глазами... ласкаю своими взглядами твои ножки. Аметист, бирюза, розовый перламутр — это цвет твоих ног.

Вчера ты забыла мне позвонить, а потом незримо пришла. И явилась тревога, которая меня давила, переносилась из непосредственного ближайшего прошлого в будущее, в опасное будущее. И зарницы моего воспаленного воображения высвечивали для меня эту твою бестелесную ультимативность, ужасно сконцентрированную моим отчаянным страхом, усовершенствованным многочисленными медитациями.

— Тебе лишь кажется, что я тебя избегаю. Это потому, что ты никогда не просыпаешься ночью, чтобы сладко уснуть со мной, в моем сне... Проверь, каждый раз я прихожу к тебе вовремя...

Любовь — это черная краска моей души, растворенная в зрачках твоих глаз, с ее обжигающими бликами бесконечной снисходительности, с беспощадной многоликостью и непредсказуемостью. Мир моих желаний или воображаемого единственного влечения — все одна и та же сумасшедшая сизифова работа моей мысли: тащить настоящий момент туда, где есть подробности прошлого. И я говорю с тобой о том, что было, или о том, что будет, и в упор не вижу того, что есть.

Я вижу во сне музыку наших ночей. Потому что справедливость страстного сна для меня освещена тобой. Я и ты обжигаем светом друг друга, как поющие и танцующие свечи. Все остальное для меня — тьма, и пользуется остальным кто-то другой. Тот, кто знает про всех людей и смотрит насквозь в самые пределы сроков и дат, он и разгадывает бессмысленность черных сфер.

А когда... даже просто смотрю в твои безумные серо-голубые глаза — я пью медленный яд неумолимого собственного сердца. И не представляю, какой молитвой смогу отомлить все прелести твоего... моего безрассудства? Мне кажется, что моя кровь стынет от ужаса, леденеет. Мне остается молитва о...

Нет! У меня есть конкретное требование. Откровенное требование одной тебя у всей Вселенной, у самой вечности — значит много больше, чем неумолимый закон бытия, скрытый под маской необходимости... а тяготит немного меньше, чем обман чувств или разума, пущенный в ход внешними силами.

Мир сил — это только сравнение, указатель на то, о чем идет речь. Мир не меняется, он всегда один, только один, и только в нем, благодаря любви, мы обретаем язык, узнаем себя в нем, привлекаем к себе или отталкиваем, маскируемся или обольщаем.

Мне никогда не разлюбить тебя.

А

В Царстве Небесном нет мне причин искать Бога, потому что там нет формы и нет даже структуры бытия. Пусть птицы ночи нарисуют в неясном небе образы — признаки формы. Чтобы наступило утро. Вот тогда: «Ранним утром где-то в великих просторах Западной Сибири проснется женщина. Она немножко обидится или насупится на ослепительное зимнее солнце. И солнце послужит ей зеркалом...»

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

*Распустила по утрам яблоня свой веер,  
Никогда я не умру — в этом я уверен.*

Владимир Ширяев

*...и не понять никак по-настоящему,  
Что яблоня его, который год  
Поющая и вся плодоносящая,  
Лишь в нашей горькой памяти растет.*

Владимир Соколов

«Как пойдут дела дальше? Ведь церковь всегда лгала людям, что души у всех одинаковы...»

Виталий Соколов почувствовал боль в сердце именно в тот момент, когда смотрел в пустую могильную яму. Боль была приятная, легкая и недолгая.

Конечно, нельзя прожить пятьдесят лет, чтобы ни разу тебя не кольнуло. Однако это подлое и ласковое наказание болью подарило Соколову ощущение невыносимой печали, печали о том, что он ничтожество, а его жизнь значит, даже итожится, как чисто первоапрельское доказательство простой человеческой глупости: добровольного его гадства и рабства.

Что за обескураживающая мысль, досадная и незамаскированная! Может, от неуютности кладбищенского пафоса, от поэтической страсти несоответствующих жизни чувств... все в нем повторяется в спиритуальном своем значении. Все из-за несоответствия плоти затерроризированной и его примитивной думе о свободной воле, даже о моральной ответственности за Бога.

Может, помолиться Иисусу Христу?.. Но это то же, что раствориться, как сахар в чае. Ничего неизведанного он теперь не хочет, ни о чем не мечтает. И ничего преднамеренно уже не сделает. Он, как бездомный кот, будет тайно сидеть под порогом собственного дома и жалостно смотреть в щель, в дневной проем неба, где под кривым горизонтом простирается тайга. Без погрешностей и людей, даже без всего грязного или негативного, которое очень могло бы добавить природе человеческой чего-то нового, свежего, какого-то соприкосновенного начала, того самого, еще не признанного Богом, потом демонстративно не отмеченного идеей небесной.

В идее неба нет негативного. Это всеми предполагается. А для идеи небесной даже умышленная гадость сладка и горестна, как на земле благодать, как некое каббалистическое число, где вся квинтэссенция из безотлагательного — откровенная телесность и слизь. Ведь его личное прошлое — это забытые горькие сны, от которых он давно бы отрекся, не будь в его снах игры, шутки, хохмы, наверное, довольно страшной. Прожитая жизнь это же не иллюзия: все явления жизни прошли в самой трогательной простоте и до того понятны, что и знать причины нет, зачем на прошлое нужно оглядываться дважды.

Своей жизнью он лишь шантажировал. Он не из тех, кому можно проветривать и перетряхивать собственное прошлое, оттуда ничего эфемерного ему уже не выудить никаким пылесосом.

И стихи свои он давно бы отодвинул в сторону, если бы не память крови, не первобытный ужас, который по вездесущим капиллярам, как адреналин, как наказание, каждую ночь проникает в голову и травит мозг, заставляя чувства кипеть, а все отражения меркнуть в зеркальной траурной мути.

Хоть он и умудрился сохранить в земных боях свою драгоценную шкуру, и остатки мяса кое-где еще болтаются на его костях, он уже уныло знал, что владеть этим добром осталось совсем недолго. Но, стиснув зубы, он все-таки будет до конца играть свою роль в пьесе, в которой для других актеров, живых людей, высвобожден лишь один смысл Творца — достижение Рая. Но для земного, для яростного мира любви и для наслаждений он, в сущности, ни что иное, как загнанная, ошетилившаяся кошка, с безумной гордостью еще пытающаяся отбиться от стаи бешеных псов.

И в самом деле! Ему уже не от кого ждать помощи, тепла или веры, он никогда не был так бесполезен себе и так одинок, как сейчас.

Так попасться!

Выбрать настоящее по собственному невежеству, недогляду, добровольно выбрать сегодняшнее настоящее, которое сродни безумию, предпочесть это настоящее — ушедшему лету или будущей зиме.

Жизнь — это только то, что есть.

А что есть прожитая жизнь?

Бездна, равная всего лишь собственной человеческой жизни.